ДВОР

– На Луну надо лететь, – сказал Пашка и смачно плюнул под ноги. На дворе август, тепло, родители неделю назад привезли меня с Черного моря. Лето выдалось жарким, полосочка загара резала мои ноги пополам чуть выше колена, там, где заканчивались шорты. Возле подъезда на лавочке сидели баба Валя из пятой квартиры и ее соседка баба Зина из восьмой. Чуть поодаль, ближе к турнику, на котором обычно выбивали ковры и только бабы Зинин внук Григорий, весной вернувшийся из армии, по старой привычке накручивал в одиночестве по утрам подъемы-перевороты, мужики забивали козла. Возле забора чистил шкуру свою от блох Шарик. Двор. Все так привычно и знакомо. На Луне темно, холодно и одиноко. Американские астронавты на покрытом рябью экране телевизора кутались в неуклюжих скафандрах. Передачу про них я видел несколько дней назад. Я поежился. На Луну я лететь не готов. Мне и здесь хорошо.

Из-под ржавого «Запорожца» вылез дядь Дима, матернулся в нос, бросив на нас хмурый взгляд, вытер грязные руки тряпкой, пнул по колесу ногой, обутой в рваные домашние тапки. Тапок сорвался и полетел обратно под «Запорожец». Дядь Дима матернулся громче и стал выуживать тапок валявшимся у забора куском штакетника. Тапок возвращаться отказывался. На дядь Диминой ноге ему, видимо, было некомфортно.

– Че те надо? – вдруг заорал дядь Дима на машину. – Че ты, падла, не заводисси?

Машина молчала.

– А вы че тут стоите? – вдруг переключился он на нас. – Ночь уж скоро, а ну марш домой, завтра в школу.

Я вздрогнул. Пашка спокойно шмыгнул носом. Тапок не доставался.

– У меня каникулы, – Пашка покачивался с пятки на носок, с носка на пятку, – мне в школу через неделю. Сашке, – он показал кивком головы в мою сторону, – вообще еще рано в школу. Ему через год только. Сашка маленький.

А потом смело сунул руки в карманы и добавил по-взрослому:

– И поздно, не поздно – не нам решать. Надо будет – мамка позовет. Ты, дядь Дим, своих пацанов наделай вначале, а потом командуй ими.

Дядь Дима открыл для ответа рот, семьи у него не было и не предвиделась в ближайшей перспективе, как выражалась моя мама, но слова словно застряли в его горле. Он немного пожестикулировал руками, подбирая аргументы, но смог выдавить только что-то совсем непонятное, а потом и вовсе бросил все попытки, плюнул, кинул на капот машины тряпку и запрыгал на одной ноге в сторону подъезда. И только возле двери остановился, повернулся к нам и просвистел через дырку от потерянного по пьяному делу переднего зуба:

– Договорисси ты у меня… – и исчез за дверью.

Мы стояли молча. Со взрослыми лучше не спорить. Мне шесть лет. Пашке – восемь.

– Как полетим-то? – спросил я, глядя на «Запорожец». – Вон у дядь Димы машина не заводится, а тут ракета. Где мы ее возьмем? Да и учиться надо на космонавта. Я на велосипеде только недавно научился. И то вчера упал.

– Ну да, – задумался Пашка, – ракеты нет. Это точно. – И загрустил. А я обрадовался.

Под машину залез Шарик, вытащил тапок, улегся рядом и принялся его грызть. Потом поднял голову на секунду и залаял, не выпуская добычу из лап. Через двор шел прохожий. Двор сквозной – можно немного срезать.

– А если его? – махнул рукой на Шарика Пашка.

– Что его? – не понял я.

– Ну, в космос… как Белку и Стрелку. Собак же запускали до Гагарина. У бати моего журналы дома лежат – «Наука и жизнь». Подшивка. Я листал как-то. Там модель ракеты, в которой они летели. Маленькая, понятно… но можно же больше сделать. У нас в сарае знаешь, сколько всего… и гвозди, и шурупы, и колеса от старого велика. Что мы, ракету не сделаем, что ли? Раз плюнуть. Если что, в кружок запишемся.

Кружок авиамоделистов находился на соседней улице. Я пожал плечами. Может, и сделаем. У нас в сарае тоже валялось много всякой ерунды. Все, что переставало дома работать, находило свое упокоение там. Три старых утюга, доставшийся от бабушки самовар, ванночка, в которой меня купали ребенком, топор, мотки проволоки, доски, дырявые кастрюли.

– Сделаем, – согласился я.

– Только ракете топливо нужно, – вспомнил Пашка. – Эфир. Мне рассказывали. Знаешь, где эфира полно? – спросил он меня, понизив голос.

Я замотал головой.

– Там, – Пашка показал пальцем в сторону.

В десяти метрах от нас высился забор станции переливания крови.

Двор наш как облетевшая к концу лета ромашка – в центре спортивная площадка, обнесенная забором, войти можно через калитку, а от нее как будто отходят три лепестка, три дома, каждый со своей небольшой территорией, и у каждого своя, тоже небольшая, жизнь. Наш дом кирпичный, в три этажа, старый, в землю вросший за сто без малого лет. Стены толстые, в метр толщиной. Родители купили шкаф как-то год назад, огромный, тяжелый, в коридор, для вещей. Мужики затащили внутрь, поставили, а пройти мимо только я и могу, и то бочком. Стоит шкаф, в родительскую спальню проход загораживает. Деньги заплачены, обратно не сдашь. Да и смысла нет сдавать, тогда любая мебель хорошая – дефицит. Стоит шкаф в коридоре, дверьми полированными блестит, никому проходу не дает. Мамка на работе. Отец отпросился, помогал мужикам шкаф затаскивать. Мужики денег не взяли, попросили у папки бутылку. Тот купил. Мужики: стаканы есть? – А то! Разлили. Давай с нами! Папка не возражал. Он, когда про водку речь шла, никогда не возражал. Чокнулись, выпили. Папка крякнул, занюхал рукавом. Мужики ушли. Папка подумал, вышел на улицу, топор из сарая принес.

– Иди к себе в комнату, дверь закрой, – сказал мне.

Я ушел. Папка начал в коридоре кирпичную стенку топором рубить. Только искры летели. За час полметра вырубил. Шкаф заглубил, стало ходить спокойно. Только пыль красная по всей квартире толстым слоем. Я-то дверь свою закрыл, а папка спальню – нет. Мама уставшая пришла вечером, только руками взмахнула – ну как же так, теперь и отмывать все, и занавески стирать, и ковер вон весь красный. Отец плюнул – не ты, мол, на шкаф заработала, а я, да еще рубил, понимаешь, эх… и во двор к мужикам пошел. Вернулся в ночь уже пьяный. А соседка тетя Валя, та, что через стенку, так и не узнала, что папка рубил. Глуховата на ухо уже была, 90 лет. Хорошие дома тогда строили…

Пашка со мною в одном доме живет. Маленький, узкий, худой. Жилистый. Словно не кормили его совсем. Мать – нянечкой в детском саду. Отец на заводе работает. Хотел, говорят, поначалу на инженера выучиться, да не получилось. От той жизни, где хотел, только «Наука и жизнь» осталась. В институт экзамены завалил, напился с горя, подрался у чепка, голову кому-то проломил. Хорошо не до смерти. Отсидел, вышел. Теперь на заводе разнорабочим. По вечерам, когда трезвый, с мужиками на лавке козла забивает. Когда пьяный, спит на диване в квартире. Квартира на первом этаже, от нашей через стенку, только не с той стороны, где тетя Валя, с другой. Храпит – треск на весь двор. Дети в отца. Старшему, Вовке, – 17. Сидит в колонии. Друзья отца Вовку и подбили. А тот Пашку взял с собой. Двое. Мужики взрослые. Решили квартиру почистить, через три квартала от двора нашего. Форточку незапертую нашли. Пашка в нее залез, окно изнутри открыл, тех двоих запустил. А Вовку на стрем поставили, вдруг хозяева вернутся. Мужики Вовке десять рублей дали за работу. А Пашке нож обещали подарить, тот, у которого лезвие выскакивает. Финку. Вовку тогда у окна учительница по литературе увидела, классная его. Вероника Степановна. Она ему – ты чего, Владимир, в школе не был, друзья сказали, заболел, а вон здоровый на улице стоишь. Хочешь если, пойдем со мной, я тебе расскажу, что на завтра задали.

Испугался Вовка. Испугался и побежал. Не свистнул парням, не предупредил. Просто убежал. Учительница стоит, не поймет ничего. А тут мужики из окна и полезли с добычей. Она все сообразила сразу да как закричит: милиция! Квартира та учительницы оказалась. Муж у нее моряк, по загранкам ходил, есть чем в доме поживиться. Сразу не сразу, но в тот же день тех двоих взяли. Пашка оказался умным пацаном, под кровать залез, мелкий совсем, незаметный. Затаился, дождался, когда шум уляжется, потом бочком, бочком и убежал. А про Вовку мужики не сказали ничего. Молчали, когда милиция допрашивала. Все на себя взяли. А что на улице у окна стоял, так это не значит ничего, может, просто мимо шел. Учительница понимала все конечно, но как докажешь…

– Друзей выдавать нельзя, – сказал мне в тот день Пашка. – Так Виктор Сергеевич сказал.

– Это кто? – не понял я.

– Старший!

Я не стал больше ничего спрашивать. Захочет, расскажет.

А Вовку в тот же вечер били. Во двор наш пришли взрослые мужики, вывели его на спортивную площадку и закрыли за собой калитку изнутри. Мы стояли с Пашкой за забором и смотрели на площадку сквозь щель. Мужиков было пятеро. Двое держали Вовку за руки, а двое других по очереди били его в поддых. Потом поменялись. Пятый, седой совсем, стоял поодаль – не бил. Раз, два, три – считал Пашка удары, и я видел, как в сгущающейся темноте сжимаются его кулаки. Вовка терпел и молчал. Во дворе резались в домино. Баба Валя и баба Зина у подъезда обсуждали Варьку. Варьке исполнилось сорок, на прошлой неделе она вышла замуж на двадцатипятилетнего Петра из соседнего дома. У Варьки были золотые зубы, и она работала продавщицей мясного отдела в соседнем гастрономе. Проститутка, шипели бабки. Четыре, пять, шесть – считал удары Пашка. Его пьяный отец валялся на диване дома.

– Саша, пора домой! – уже третий раз крикнула в форточку моя мама.

Я в последний раз посмотрел в щель забора. Вовка лежал на траве, скрюченный, поджав под себя ноги, и плакал. Мужики собрались уходить. Вдруг седой присел возле Вовки, вынул что-то из-за пазухи, завернутое в газету, положил рядом и начал говорить.

– Ты понял? – донеслось до нас. Мы увидели, как Вовка кивнул. Седой поднялся. Остальные ждали, открыли перед ним калитку. Они шли мимо нас, хмурые и злые. От них веяло холодом.

– Пашка? – спросил седой и остановился возле.

Пашка кивнул.

– Молодец, – седой протянул руку. Пашка пожал.

– Не держи зла за брата. Из-за него двоих наших посадили.

Пашка молчал.

– На, держи, – седой полез в задний карман брюк, вынул оттуда мятую пятерку и протянул, – тебе. Купи там чего-нибудь… ну чего хочешь. Конфет, пряников, сигарет. Куришь небось?

Пашка замотал головой.

– Ну тем более… пора начинать.

Мужики осклабились и загоготали.

– Бывай! – махнул, отворачиваясь, седой, а потом добавил: – Запомни, пацаны друзей не бросают. И не выдают! Никогда. Особенно когда те в беде. Повтори.

– Не бросают. И не выдают! Никогда, Виктор Сергеевич, – повторил Пашка, – особенно в беде.

Я повернулся и пошел домой. А Вовку посадили через неделю. На следующий день он разбил камнем окно учительницы, вынул из кармана бутылку, плеснул из нее на подоконник, на занавески, бросил внутрь, потом чиркнул спичкой и остался стоять рядом, отойдя подальше только когда жар стал совсем невыносимым.

Если взять старую ненужную фотопленку, скрученную в рулон, потянуть за кончик ее изнутри и вытянуть наружу, потом поставить
на широкую часть и снизу поджечь, то фотопленка превратится в ракету. Она будет летать по квартире кругами, вычерчивая за собой черную дымную полосу. Полетав, упадет на пол и догорит, оставляя о себе память в виде прожженного линолеума. Мама весь вечер будет ругаться: а если бы ты вдруг поджег занавеску, так и весь дом спалить недолго. Отец вернется с работы, со всего размаха треснет по заднице: кто тебе разрешал взять пленку, это со дня рождения дяди Жени, там вся родня, твоя бабушка, дед, тетя Нина. Я буду реветь, уткнувшись в подушку, не столько от боли, сколько от обиды. Я же просто хотел запустить ракету.

А еще можно взять ненужный картонный цилиндр от туалетной бумаги, потом выточить из старой доски перочинным ножом к нему заостренный нос, воткнуть его в цилиндр, утащить из кухонного шкафа два коробка спичек, напильником соскоблить с них всю серу, засыпать внутрь цилиндра и заткнуть с обратной стороны скомканной плотно газетой. Не забыть приклеить к цилиндру подкрылки для выхода топливных газов. Подкрылки из толстой бумаги, чтобы ракета стояла, опираясь на них. Затем нарисовать цветным карандашом на цилиндре аккуратно небольшие круги, размером с пуговицу, – люки. Внутри серьезные лица космонавтов в шлемах, вот Гагарин, Титов, Гречко. Я знал тогда их всех по именам, бежал к телевизору, ожидая репортажей о новостях с орбиты, выписывал в тетрадь – фамилия, имя, отчество. Даты. Улетел. Вернулся. Надо поджечь торчащий из хвоста ракеты кусочек газеты и немного подождать, пока она разгорится. Через несколько секунд раздастся маленький взрыв, сера со спичек резко вспыхнет, выталкивая газетную пробку. Ракета оторвется от пола и взлетит. На метр. На два. Все зависит от спичек. Последний раз они отсырели. Ракета вспыхнула и, не поднявшись ни на сантиметр, упала на бок. Космонавты «погибли».

Гоша жил в соседнем доме, в другом, втором лепестке облетевшей ромашки. Старый, деревянный, покосившийся, дом скрипел всеми своими частями – отворялась ли дверь, окно, кто-то шел по лестнице, передвигал в квартире стул или стол, дом реагировал на каждое движение, кряхтя от усталости. От дома пахло сыростью и нечистотами. Гошина мать звала нас порой: чаюхошьли, Саш? Я мотал головой, не любил туда заходить. И только раза два-три, заигравшись допоздна с Гошкой в ножички, вдруг ощущал страшные позывы внизу живота и понимал, что не добегу до своей квартиры, срывался с места, распахивал дверь и влетал в вонючий, разящий аммиаком туалет на первом этаже, набирая еще на улице полные легкие, и стоял над унитазом без рундука с приспущенными штанами, чувствуя, как вместе с легкостью исчезает воздух – еще немного, еще, еще… а потом, придерживая расстегнутые штаны, выбегал во двор, широко раскрывая рот, и вдыхал свежий воздух одним глотком, словно желая взорвать все внутри себя. Гошка смеялся надо мной – интеллигенция, понимаешь, не то что мы рабочие, привыкшие уж. Моя мама преподавала в университете. Отец работал в НИИ инженером.

В ножички с Гошкой играть было интересно. Втыкай, куда хочешь, –
во дворе только вытоптанная нашими детскими ногами земля. Гоша вынимал из заднего кармана нож, картинно нажимал на кнопку – вылетало лезвие, я вздрагивал от неожиданности, а потом завороженно смотрел на отражающиеся в полированной стали блики. Гоша очерчивал на земле ножом круг, резал его пополам: ты стоишь на своей половине, я на своей. Потом бросал нож в мою. Если тот втыкался в землю, Гоша забирал себе завоеванный кусок, стирая старую границу, если нет –
передавал ход мне. Я пыжился, метился, старался быть как можно точнее, но чаще всего нож вздымал облако пыли, отскакивал от земли и падал, не воткнувшись. Наступал снова ход Гоши. Моя территория становилась все меньше и меньше, и вот я балансирую на одной ноге, почти на носочках, снова целюсь выточенной где-то в ночную смену на заводе по секрету от начальства финкой, и опять промахиваюсь. А на следующее утро, когда родители уходят на работу – спи, скоро придет бабушка, тебя покормит, – я встаю, достаю из-под половицы маленький перочинный нож, который я нашел месяц назад в нашем сарае и, словно Чингачгук, бросаю его в дверь нашего туалета. Я должен научиться, я должен обыграть Гошу! Нож делает несколько оборотов и с первого раза вонзается в дверь. Я кричу от восторга, наконец-то, выдергиваю его за ручку – на двери остается глубокий след от лезвия.

– За забором у них бочки, я видел, – продолжает Пашка. – В бочках эфир.

– Откуда ты знаешь? – спрашиваю я

– Знаю! Там больше нечему быть, кроме эфира. Когда кровь переливают, эфиром вытирают ранку на руке. Понял? Завтра вечером, как стемнеет, пойдем за эфиром. Дома скажешь, что мы на площадке мяч гоняем, чтобы родители не беспокоились. На станции нет никого после семи. Я проверял. Подождем часик на всякий случай и пойдем. Я из дома пару бутылок возьму, чтобы эфир в них налить, у нас от бати бутылок много валяется. Он их сдавать не успевает. Договорились? – спрашивает меня Пашка.

– Договорились! – отвечаю ему я.

Мы сидим с Гошей на крыше сарая. Сарай невысокий, на него можно забраться по растущему рядом дереву. Вначале подтягиваешься на нижней ветке, забрасываешь на нее ноги, аккуратно, прижимаясь к стволу, поднимаешься выше и добираешься до четвертой ветки снизу. Она длинная, раскинулась до самой крыши сарая, словно облокотилась на него. Держась за ствол, встаешь на ветку, несколько секунд медлишь, прислушиваясь к себе, потом отпускаешь ствол и, балансируя, как канатоходец в цирке, переступая сандалиями, шаг за шагом, движешься к крыше сарая. Когда остается один метр, не выдерживаешь и делаешь последний, большой уже шаг, падая на не успевшую высохнуть от последнего дождя или, наоборот, на раскаленную от солнца крышу. С нее виден почти весь двор и даже немного соседний. Гоша вынимает из кармана рубашки карты. Умеешь? – спрашивает он меня. – Что? – Играть! Я мотаю головой: нет. – Тогда научу. Для начала в дурака. Ты же дурак? Гоша смеется. Я злюсь. Раз не умеешь играть – значит, дурак. Вот выиграешь у меня – поумнеешь. Я соглашаюсь. Гоше десять лет, он старше меня на четыре года. Я выиграю. Если я научился втыкать в дверь нож, значит, я смогу научиться и в карты.

– Смотри, – говорит Гоша и протягивает мне одну карту. – Это самая младшая – шестерка пик.

Я замираю. Карта старая, потрепанная, с неровными краями. С одной стороны ее цветная сеточка, с другой – фотография с цифрой шесть и каким-то черным значком. На меня, широко раздвинув ноги, смотрит абсолютно голая девушка. Она красивая. У нее большие глаза. Но я смотрю не на них, а ниже. Туда, где…

Гоша выхватывает их моих рук фотографию и протягивает другую: на, гляди, это семерка червей. Семерка еще красивее. У семерки высокая грудь и яркое красное сердечко. А это восьмерка, девятка… не останавливается Гоша. И смеется. Смеется на весь двор.

– Ну что, хорошая игра карты? Скажи – хорошая?

Я киваю.

Третий дом, третий лепесток нашего двора, стоял немного поодаль, впритык к художественному училищу. Летом после занятий из училища высыпала толпа студентов, шумела возле подъездов дома, смеялась, курила и пила пиво. Толпа была яркой, словно палитра художника. Постепенно она редела, разбредаясь в различных направлениях. Мы с Пашкой изредка сидели на скамеечке во дворе возле училища, разглядывая будущих артистов. Однажды, когда все разошлись, Пашка вынул из кармана старый целлофановый пакет, соскользнул со скамейки и начал собирать окурки в том месте, где только что стояли студенты.

– Помогай, – позвал он меня.

– ?

– Окурки, – объяснил Пашка. – Видишь! – Черный с одного конца, тот был в следах ярко-красной помады с другого. – Это фильтр, – Пашка оторвал своими пальцами окрашенный кусок, – теперь с другой стороны уголек тоже отрываем, и вон сколько там табака внутри осталось. Если из десяти окурков понемножку насобирать, то получается целая сигарета. Теперь надо от газеты кусочек оторвать, табак туда ссыпать и скрутить. Самокрутка называется. Можно фильтр вставить от старой сигареты. А можно так курить, без фильтра. Ты чего так смотришь на меня? – спросил Пашка. – Это брат мне с зоны написал. Рассказал все. Там с сигаретами плохо совсем. В магазине тюремном они не всегда продаются, приходится за охранниками окурки подбирать и так вот скручивать себе. Пошли, давай собирать, пока они не промокли.

Вчера шел дождь, кое-где еще не просохли лужи.

Мы снова сидим с Пашкой на скамейке, я помогаю ему высыпать из окурков остатки табака на газету. Пашка делает две самокрутки.

– Одна тебе, – объясняет Пашка. Я мотаю головой.

– Надо, – Пашка безапелляционен. – Все взрослые мужики курят.

– Мой отец нет, – возражаю я.

– Зато пьет.

Я соглашаюсь. Возразить нечего.

Я вдыхаю дым в рот. Надуваю щеки. Горло словно схватывает железной рукой, из глаз брызжут слезы. Начинаю кашлять. Пашка смеется. Прищурив глаза, вдыхает в себя, затихает на несколько секунд и выпускает острую струйку дыма.

– Брат показывал раньше, как кольца ртом делать, сейчас увидишь.

Из подъезда выходит Лида. В ее руках папка с нотами. Лида учится играть на фортепиано в музыкальной школе. Она моя ровесница. Светлые волосы, голубые глаза, на голове всегда два банта. Иногда белых, иногда голубых, иногда красных. Через год мы с Лидой будем вместе ходить в школу. В один класс. Сидеть за одной партой. Так говорит моя мама. Я с ней согласен. Лида мне нравится.

– Мальчики! Зачем вы курите? – спрашивает она.

Я прячу самокрутку за спину и выбрасываю ее под скамейку. Пашка демонстративно затягивается и выпускает в Лиду колечко. Потом еще одно. Колечки у Пашки получаются круглые и ровные. Словно у жонглера, которого я видел прошлым летом в цирке. Только у того они были из дерева, а Пашкины кольца из дыма. Дым растворяется в воздухе, кольца исчезают.

– Моя мама говорит, что курить вредно, – переживает за Пашку Лида.

– Твоя мама дура, – заявляет Пашка и делает новую затяжку.

– Не смей так говорить, – кричит Лида, папка с нотами взвивается в ее руках. Пашка увертлив, удар несильный, куда-то в плечо. Он толкает Лиду в ответ.

– Не трогай ее, – вскакиваю я со скамейки и бью Пашку кулаком в грудь. Он падает, но сразу поднимается. Весь грязный, за скамейкой лужа, еще не высохла после вчерашнего дождя.

– Ах так, еще называется друг, – Пашка бросается на меня, сбивает с ног, подминает под себя, садится сверху и начинает осыпать меня градом своих маленьких кулачков – в грудь, в лицо, в голову. Мне больно. Пашкины кулаки острые.

Меня спасает Лидина мама. Она выходит из подъезда.

– Прекратите немедленно, – кричит она и спешит мне на помощь.

Пашка убегает. Лида смотрит на меня с благодарностью.

Мы сидим на крыше сарая. Я, Гоша и Пашка. Играем в карты уже целый час. В дурака. Чаще всех в дураках остаюсь я. Наверное, потому что я больше смотрю на картинки, чем думаю об игре. А еще я думаю о Лиде.

– Считать надо, – объясняет мне Пашка. – Помнить, какие карты уже вышли, соображать у кого какие остались. Это же не сложно.

Наверное, не сложно. Но у меня не получается.

Над крышей тянутся провода. Несколько проводов. От одного столба к другому. Они толстые, скручены из нескольких тонких. По проводам проходит электричество. Гоше скучно, ему надоело играть с нами. Он всегда выигрывает. Пашка говорит, что у него в рукаве козырной туз. Гоша встает и потягивается. Он подходит к проводу, дотрагивается до него и сразу отдергивает руку, потом дотрагивается еще раз, уже без страха. Зажимает провод в кулаке.

– Щекотно, – улыбается Гоша. – Иди сюда, – зовет он меня.

Я поднимаюсь. Гоша хватает меня как маленького, поднимает на руки, ближе к проводам:

– Хватайся за провод, – говорит он.

Мне страшно. Папа говорил, что до оголенных проводов дотрагиваться нельзя.

– Хватайся, – повторяет Гоша, – ты же видел, со мной ничего не случилось.

Я осторожно тяну свою руку к проводу, вначале дотрагиваюсь до него пальцем, отдергиваю, потом еще, уже на секунду подольше, потом еще дольше. И вот провод холодит мою руку. Руке щекотно, словно я глажу соседнего котенка. Только это другое чувство. Щекотно всему телу, рукам, животу, ногам. Я отпускаю провод. Гоша ставит меня на крышу.

– Это из-за дождя, – объясняет он, – дождь был утром, крыша сырая, электричество через тебя проходит, вот и щекотно.

– А птицам тоже? – спрашиваю я.

Вдалеке от нас, на проводах сидят воробьи.

Гоша пожимает плечами.

– За один провод любой дурак может взяться, – подает голос Пашка. –
Я сам так сколько раз делал. А спорим, что за два сразу не возьмешься. Одной рукой за один, второй за другой.

Над нами проходят сразу четыре провода – два ниже, два других слишком высоко, не достать.

– На что спорим? – интересуется Гоша.

– Проиграешь – финку свою отдашь.

– А ты проиграешь – Вовкин шлем. Ну тот, в котором он на мопеде гонял. Брату твоему еще три года сидеть, а шлему хозяин нужен.

Пашка соглашается.

– Разбей, – говорит мне Гоша, и они с Пашкой протягивают друг другу руки.

Я разбиваю.

Гоша взбирается на самый конек сарая, повыше, туда, где до второго провода можно достать, не поднимаясь на носки. Хватает первый провод, тянет руку ко второму. Оборачивается к нам.

– Ну чего смотришь? – говорит он Пашке. – Давай за шлемом дуй, – и берет второй провод свободной рукой.

Раздается щелчок. Гоша дергается несколько раз, открывает рот, словно пытаясь что-то сказать. Волосы его, обычно прилизанные, вдруг поднимаются, словно по команде. От них идет дым. Гоша стоит и держится за провода, не в силах отпустить их. Потом обмякает и падает на крышу. С губ его стекает густая белесая слюна. Я прыгаю вниз прямо на землю, рискуя сломать ногу, приземляюсь не очень удачно, падаю на бок, поднимаюсь и бегу. Возле калитки останавливаюсь и оборачиваюсь. Гоша лежит не двигаясь. Пашка копошится рядом, потом достает что-то из Гошиного кармана и прыгает вслед за мной. Подбегает к калитке. В его руке финка.

– Вот… выиграл, – радостно улыбается он, поравнявшись со мной, и нажимает на кнопку. Лезвие выскакивает.

– Через забор ты полезешь, – объясняет мне Пашка. – Я тебя с этой стороны подсажу, на стене возле забора вон уступы, на них ногу поставить можно. А на той стороне вдоль забора бочки с эфиром стоят. Там ты повиснешь на заборе и спрыгнешь сразу на бочки. Ну а с бочек на землю.

– А ты? – спрашиваю я. – А ты что, не полезешь?

– Я – нет, – отвечает Пашка, – я на стреме буду. – Вдруг пойдет кто мимо, услышит, милицию вызовет. Тогда нам кранты. Я сторожить буду. Если кого увижу, свистну тебе, ты сразу за бочку прячься. Если потом свистну два раза, то, значит, все хорошо, можно продолжать. Вот бутылки, с утра еще схоронил, – он вынимает из-под кустов две пустых с водочными этикетками. – Это отдельно, – протягивает мне пластмассовые пробки, – не потеряй.

– Может быть, не будем? – пытаюсь отговорить его я.

– Струсил, – удивляется Пашка, – не трусь, все нормально будет. Я, когда первый раз в форточку лез, тоже немного трусил. А потом перестал. Воровать не страшно. Не бойся. Я рядом. Пацаны друзей не бросают. Особенно в беде. Помнишь, что Виктор Степанович говорил?

Начинает темнеть.

– Давай, – толкает меня Пашка, – залезай на закорки, потом вон туда ногой, где кирпича в стене нет.

Я залезаю. Пашка маленький, но сильный. Я стою на его плечах, держусь вытянутыми руками за край забора. Поднимаю левую ногу. Один уступ, второй, немного подтянулся, еще чуть-чуть. И вот я наверху. Забор деревянный, новый, весь в занозах. Острые края врезаются мне в ноги – надо было надеть длинные штаны. Темно, ничего не видно. Где-то там подо мной бочки с эфиром. Я возьму немного эфира, и мы отправим Шарика на Луну. Я прыгаю вниз. Падаю, разбиваю в кровь колено. Бочек нет. Пашка шепчет с той стороны забора: держи – и подсовывает мне бутылки сквозь щель. Колено болит, я чувствую, как течет по ноге кровь. Хватаю бутылки, прижимаю их к себе. Где бочки с эфиром? Где? На улице стемнело, ничего не видно. Я слышу шорох, звук открываемой двери. Щелчок – включается свет, он заливает собою весь двор. Я на секунду зажмуриваюсь, а потом, когда открываю глаза, вижу стоящую в метре от меня собаку, а поодаль мужчину с бородой. Собака рычит, готовая броситься в любой момент. В руках у мужчины ружье.

– Фу, Жиган, – кричит бородатый на собаку, – фу, ко мне!

Пес неохотно отворачивается от меня, подходит к хозяину и ложится рядом.

За забором слышны быстро удаляющиеся шаги. Это убегает Пашка.

– Не стреляйте, дяденька, пожалуйста, – прошу я.

На электрической плитке закипает чай. На столе варенье и сушки. И два стакана с подстаканниками. На обоих написано – «Дяде Ване от сослуживцев». Жиган в углу, уткнулся мордой в лапы, смотрит на нас. Дядя Ваня макает вату в пузырек с прозрачной жидкостью и прикладывает к моей окровавленной коленке. Я вскрикиваю от неожиданности. Больно.

– Потерпи, сейчас все пройдет, – он отводит руку с ватой в сторону и дует на рану. Кровь перестает течь.

– Это эфир? – спрашиваю я.

– Что? – не понимает дядя Ваня. – А! Нет! Это перекись водорода. Она в аптечке у нас, чтобы кровь останавливать, если вдруг порежешься.

– На ней можно улететь на Луну… ну вместо топлива?

Дядя Ваня разводит руками:

– Нет, нельзя. Для ракет нужна специальная смесь… так и называется – ракетное топливо. На перекиси водорода никуда не улетишь. Эфир у нас есть, конечно, – продолжает он. – Немного совсем. Эфир в медицине применяется для наркоза. Ну, ты таких слов еще не знаешь, наверное. Это когда нужно спать и ничего не чувствовать. Тогда человеку эфиром дают подышать. Он засыпает сразу, а ему в это время, например, аппендицит вырезают. Удаляли тебе аппендицит?

Я мотаю головой. Нет.

– Обманул меня, значит, Пашка, – шепчу я.

– Что? – переспрашивает дядя Ваня, – громче говори, я уж немолодой, глуховатый.

Я мотаю головой… нет-нет, ничего.

– За эфиром значит лез. Сам, что ли, придумал про него? Или научил кто?

– Сам, – отвечаю. Вру, краснею. Опускаю голову вниз.

Дядя Ваня машет рукой.

– Маленький ты еще. Врать не умеешь. Ну да ладно… пойдем-ка, домой тебя провожу, поздно уже, родители поди волнуются, найти тебя не могут. Только вот что, – он садится возле меня на корточки, берет за плечи и смотрит в глаза: – Врать нельзя. И воровать тоже. Пока маленький, запомни это и живи всегда так. А когда повзрослеешь и если захочется жить иначе, вспомни меня и слова мои: не врать и не воровать. И сразу станет легче. А то, что друзей не выдаешь, это, конечно, правильно… хотя… Пойдем, Жиган, гостя проводим.

Мы выходим во двор, дядя Ваня открывает ключом калитку в заборе. Августовские вечера прохладны. Я смотрю в окно Пашкиной комнаты, там колышется занавеска – Пашка подглядывает. Я тебя не выдам, не бойся. Друзей не выдают. И не бросают. Никогда! Помнишь Виктора Сергеевича? Навстречу мне бежит мама. Жиган приветливо машет ей хвостом.

Звенит звонок. Мы сидим за партами. Первый урок – литература. Вероника Степановна уже на своем месте.

– Откройте четырнадцатую страницу, – говорит она.

Я достаю из портфеля учебник. Скрипит дверь. В кабинет входит директор школы. Мы поднимаемся.

– Здравствуйте, Алевтина Петровна!

Рядом с нею высокий парень. Поношенная школьная форма, нечесаные волосы, жесткий колючий взгляд, веет холодом. Парень смотрит на нас нагло, с усмешкой. В руках у него сырая картофелина. Он перекидывает ее из одной руки в другую.

– Здравствуйте, ребята, садитесь, – отвечает директор, – это ваш новый ученик, Павел Ковалев. Он… – директор делает небольшую паузу, словно вдруг смутившись, и продолжает: – Павла перевели к нам из другой школы, раньше они жили в нашем районе, а восемь лет назад переехали. И вот снова вернулись. Павел там остался на второй год и будет теперь учиться у нас.

Павел ухмыляется:

– Третий….

Директор поправляется:

– Да-да, извини, Ковалев, я не нарочно… на третий, – и продолжает: – Прошу всех помогать вашему новому однокласснику. Ему нужно подтянуться по многим предметам. И по поведению. Особенно. На-
деюсь, вы поможете Павлу закончить восьмой класс и решить, учиться ли ему дальше в нашей школе или уходить в ПТУ. Вероника Степановна, продолжайте.

Вероника Степановна показывает Павлу на парту в ряду у окна. Та свободна. Вообще-то на ней обычно сидит Зуев. Но сегодня Зуев хворает. Павел садится на стул, кладет на свои колени картофелину и поворачивается лицом к окну. За окном осень. Еще все зелено, но через две-три недели трава в школьном саду пожухнет и покроется желтым ковром.

– Саша, – вдруг обращается ко мне Вероника Степановна, – у новенького нет учебника. После уроков мы соберем для него все необходимое в библиотеке, а пока дай ему свой. А вы с Лидой поработаете сегодня на уроке по ее учебнику.

Я беру книгу, встаю из-за парты и иду к Павлу. Иду медленно, не торопясь. Он поднимает глаза и смотрит на меня. Я вижу, как тухнет его наглый взгляд и с лица сходит усмешка. Павел весь съеживается и неожиданно превращается в Пашку, маленького, узкого, худого. Словно не кормили его совсем. Привет! Ты вспомнил меня, Пашка? Вижу, вспомнил. Пашка! Друзей нельзя бросать. Это тебе говорил Виктор Степанович. Никогда. А ты тогда забыл. Как же так!

Я кладу свой учебник на его парту и открываю на четырнадцатой странице…